

Наталья Бакирова

## Пельмень на счастье

Домой на Новый год никого не отпустили—от графика отставали заметно.

— Ничо, мужики,— решил Егорыч.— Тут отпразднуем. Завтра наш механик в город едет, я ему уже велел фарша взять, ну, ещё там... Верку попросим, она теста замесит. Пару вечеров посидим, сотни три пельмешков налепим, заморозим. А в Новый год после бани кастрюльку на печку—ух!

Он зажмурился, представив эту булькающую кастрюльку, и пар от неё, и запах: мясо, перец, лавровый лист.

— Пельмени—это вещь,—согласился Савик.

Егорыч засмеялся, хлопнул Савика по спине:— Вещь!

В его, Егорычевом, детстве первого января всегда ели пельмени. «Прошлогодние»,— называла их баба Маня. Это было смешно и странно: как же прошлогодние, когда лепили вот только вчера?

Сначала баба Маня заводила тесто, тугое, неподатливое, совсем не похожее на то, из которого она пекла воздушные картофельные шаньги и сладкие тающие ватрушки с творогом. Из этого тугого теста полагалось накатать тощих колбасок, которые баба Маня ловко нарезала на маленькие одинаковые кругляши, уминала каждый кругляш большим пальцем—получались толстенные лепёшечки, которые раскатывали потом в сочни. На середину сочня щедро выкладывался фарш, который тоже крутили, конечно, сами: свинина с говядиной и луком. И обязательно—обязательно!—на каждую сотню пельменей был один «счастливый», набитый клюквой.

Пели куранты, менялся порядковый номер года—но именно пельмени, за ночь становящиеся прошлогодними, показывали всего наглядней: время-то и правда бежит... Наварит их баба Маня, вывалит на тарелку—горячие, солёные, сочные,—и ты давай наворачивать: со сметаной, с горчицей. И вдруг во рту горько, кисло!—это попался он, клюквенный. Проти-ивный! Зато обещает счастье.

На следующий вечер, вернувшись с профиля и перекусив, Егорыч и Савка сели за стол лепить пельмени. Стол помещался у единственного в балкэ окна, затянутого льдом. От окна заметно

сквозило, и если ветер дул с запада, то они, садясь ужинать, не снимали шапок.

Вообще-то ужинать полагалось в столовой, но успеть в столовую удавалось не всегда.

— Что, поварихи не люди—вас до полуночи дожидаться? Мы в три утра встаём!—орала Раиса, пустоглазая и косопузая баба.

В три утра она встаёт... В тепле весь день, в чистоте! Кобра. Небось, если Камыш будет в дверь скрестись, она и среди ночи поднимется, кобель драный ей дороже человека... Вот поэтому за тестом Егорыч пошёл не к Раисе, а к тихой и покладистой Верочке. И сейчас на столе были расстелены газеты, тонко присыпанные мукой, стояла миска с фаршем, а тесто Егорыч прикрыл полотенцем, чтоб не заветрелось.

Савик пустой пивной бутылкой раскатывал круглые сочни. Егорыч лепил. Пельмени у него выходили одинаковые, как с конвейера, он выкладывал их ровными рядами на лист фанеры, подцепленный вчера возле бани.

— Как-то ты не по-нашему лепишь,—пригляделся Савик.—Я думал: пельмень—он везде пельмень... А ты их будто фигуркой заворачиваешь.

— Щас—«везде пельмень»! Где, говоришь, твоя деревня-то? Под Челябинском?—Егорыч прищурил глаз и завернул ещё одну «фигушку».—Эдал я ваши пельмени. Не пельмени это—вареники с мясом.

Дверь в балок отворилась—с белыми клубами морозного воздуха вошёл Севастьянов.

— Пельмешки лепите,—уличил он и адресовался к Егорычу:—Неправильно лепишь. Разойдуся, когда варить станете. А ты,—повернулся к Савику,—скалишь неправильно!

Савик скрипнул зубами.

Севастьянов был злостная угрюмая зануда. С людьми незнакомыми он обычно мрачно молчал и только губы складывал брюзгливой скобкой: мол, знаю я вас всех. А знакомым рассказывал в подробностях, что именно они не так делают и какое безобразие может из этого получиться. Каждое утро, только проснувшись и видя, как Севастьянов вяло садится на кровати, почёсывается, позёвывает и, наконец, поднимается, шумно вздохнув,—Савик испытывал сильное желание

дать ему в морду. Уж такой это был непроходимо мерзкий вздох, столько в нём было вечного Севастьяновского недовольства работой, погодой и белым светом—уж так он, гад, вздыхал однозначно и так глядел тусклыми своими глазками!

— Слышь, Севыч,—подал голос Егорыч, защищая очередной пельмень,—а чего это ты нашей кладовщице голову вскружил?

Севастьянов моргнул:

— Как это?

Егорыч, притворяясь, что занят пельменем, лихорадочно соображал, что сказать. Ляпнул он первое, что пришло в голову,—уж больно нехорошее было у Савки лицо. Но теперь приходилось, сделавши морду лопатой, гнуть своё дальше.

— Знал бы как—я б тут с вами-то не сидел!—заявил он.—Тоже бы пошёл охмурил кого... Иду сегодня, она мне: где, мол, этот ваш, не видать давно? Позавчера, мол, целый вечер у меня проторчал, а теперь и носа не кажет!

Севастьянов действительно позавчера заходил к Таисии, надеясь выпросить лишний ватник. Егорыч нащупал тему и вёл уже вполне уверенно: — Вот она и говорит мне: привет, мол, передай, да пусть заходит когда хочет. А что? Ты—вдвоец, она—разведёнка. Лет вам на двоих сотня стукнет. Домик у неё. Сам подумай: как без мужика-то? Да и тебе без бабы тоже, знаешь... Кормила бы тебя, стирала бы...

«То-то бы ей счастье!»—подумал внимательно слушавший всё это Савик.

— Так что,—велел Егорыч,—топай давай.

— Куда?—не понял Севастьянов.

— Вот, последние мозги пропил,—скорбно констатировал Егорыч.—К ней, куда же?

Савик не удержался, приснул, и Егорыч показал ему украдкой кулак.

— Да как есть-то не ходи, оборванцем-то... Рубашку хоть погладь, что ли,—вон, возьми у Савки уютю!

Севастьянов задумался. Пошёл за уютю, включил его и принялся на табуретке—стол был занят пельменями—гладить единственную свою личную рубашку, выкопав её из кучи остального белья.

«А ведь и правда пойдёт!»—удивился Егорыч, и в груди его шевельнулось весёлое озорное чувство.—Ага! Он потёр руки и задвигался, засуетился.

— Савка, кончай стряпню!—хватит на сегодня. Сейчас пузырь достану. Надо этому дуриле,—он нежно поглядел на Севастьянова, представляя, как Таська раскатает его в тонкий сочень,—налить для просветления ума. А то ведь на трезвую-то голову перепутает всё...

«Пьяных-то она на дух не выносит!»—радостно представлял Егорыч.

Через два часа Севастьянов в уютюженной рубашке лежал поверх одеяла и храпел. Савика тоже сморило—он пробормотал что-то и полез на свою верхнюю койку. Егорыч, недовольно косясь на собутыльников и ворча, убирал со стола.

На следующий вечер Савик с Егорычем опять сидели за стряпнёй. Готовые пельмени Егорыч сложил в пакет и вывесил его снаружи возле окна, специально вбив для этой цели гвоздь. Можно было и у крыльца подвесить (где уже был, кстати, хороший прочный крюк), но там дорожка к столовой и вечный народ—туда-сюда. А бережённому всё-таки Бог бережёт. Вчера вон двоих новеньких со станции привезли, вместо Равиля Зиганшина с братьями.

Зиганшины уехали ещё в начале декабря.

— Меня начальник как нанимал? С одним выходным в неделю нанимал. Где мой выходной?—горячился Равиль.—Раз в месяц у меня выходной? Я—работать нанимался. Я всю жизнь ему отдать не нанимался...

Сказал так, написал заявления за всех троих (младшие братья по-русски писали плохо), и они уехали.

Егорыч вздохнул: хороший мужик Равиль. А эти новенькие—ещё неизвестно, что за люди. Ну, посмотрим...

Севастьянов, теперь по собственному почину, гладил рубашку. Видно было, что за прошедшую ночь и день в его мозгу совершилась какая-то работа. Объяснил Егорычу и Савику, кося мутным голубым глазом:

— Таська, она...—Севастьянов наморщил лоб, очевидно, первый раз в жизни сился сказать что-то хорошее в адрес другого человека.—Таська, она...—повторил он и закашлялся.—Она... это... своя.

Он выключил уютю и начал бриться, встав возле умывальника и глядя в маленькое круглое зеркальце, подвешенное тут Савкой. В зеркальце прыгал то нос, то щёки.

Мысли тоже прыгали. Севастьянов представлял, как придёт сейчас к Таисии, скажет: давай, мол, сойдёмся, что ли, вместе поживём. Ведь даст, поди, тогда ватник-то? Отказать-то после такого неудобно уж будет... Ведь не чужие.

Не смыв пены, он крепко обтёр лицо полотенцем и посмотрел на Егорыча.

— Я, это... непривычен с бабами-то... Мне бы это, ну...—тут Севастьянов выдал слабый смешок.

Егорыч вышел за дверь, вернулся с бутылкой.— Ну, давай,—сказал, откупоривая,—для храбрости!

Строя планы на счастливую семейную жизнь Севастьянова, бутылку незаметно усидели. Жених,

не балуя разнообразием программы, снова уснул, не раздевшись.

— Зря ты на него только водку переводишь! — сказал Егорычу Савик. — Не выйдет ничего.

— Не выйдет? Ну, мы посмотрим, как не выйдет, — пьяный и оттого азартный Егорыч стукнул ладонью по столу. — Заколебал уже тут лежать и вонять! Переселить его к кладовщице!

Савик хмыкнул.

— На хрен он ей сдался?

— Ей-то? Ты баб не знаешь, молодой ещё. Баба за сорок, да одинокая, — что ей, мужик лишний?

— Так смотри какой мужик.

— А где их, нормальных-то, взять? Мужика растить надо, воспитывать. Как кабанчика. Никогда кабанчика не держал? Ладно, я сам с ней поговорю.

На следующий день, только вернувшись с профиля, не умывшись и не поужинав, Егорыч постучал в дверь балка кладовщицы. Вошёл, стягивая шапку. От него, как от почтовой лошади, повалил пар.

— Слышь, Тася... Любовник-то твой совсем одолел! Каждый вечер рубашку гладит: щас свататься, говорит, пойду...

— Какой там ещё любовник? — отмахнулась Таисия. — Говори, чего надо, зачем пришёл?

— Дак за этим и пришёл. Заколебал потому что. Погладит с вечера рубашку, за стол усядется... Ты уж подбодри его как-нибудь, — Егорыч искательно улыбнулся, — пусть он язык-то развяжет — а там как знаешь: да, так да, нет, так нет — но хоть от нас-то он отстанет, по крайней мере!

— С ума вы все посходили, — задумчиво проговорила Таисия.

В этот вечер Севастьянов снова нагладил рубашку, но уходить не спешил. Наоборот, устроился у стола и глядел на Егорыча с каким-то хозяйским ожиданием. Савик пробормотал что-то и бросился на улицу курить. Егорыч вышел следом.

— Что с этим нашим женихом делать, уж и не знаю... — сознался он. — Сидит, старый хрен, ждёт ведь, пока налью! У меня и так уж три пузыря всего осталось, а завтра Новый год.

— Так не наливай, — сказал Савик.

— Не нальёшь — так ведь и будет сидеть, колода.

— И нальёшь — будет сидеть. Что, думаешь, он правда жениться собрался? Ага, щас! Ему выпить на халюва охота.

Тридцать первого декабря натопили баню. От души натопили: пришлось распахнуть наружную дверь, которая мгновенно обросла снежной шубой. Мороз клубами вваливался внутрь, в этих клубах едва можно было разглядеть сидящих на лавках людей. В парной — криканье, плеск, веники хлещут — аж листья летят, прилипающая к мокрым бокам и спинам.

Вернувшись оттуда, распаренный, красный Егорыч обнаружил Севастьянова, с сырыми ещё волосами, но уже чисто выбритого и в отглаженной рубашке, — а Савка лежал на своей койке и дрях. — Савелий! — гаркнул Егорыч. — Вставай, судьбу проспишь! Желание-то кто за тебя будет под ёлочкой загадывать?

Но Савка, по-детски подложив руки под щеку, спал крепко.

Егорыч потряс его за плечо. Савка не шевелился. — Вот ведь... — ругнулся Егорыч. — Ничего... пельмени сварятся — живо у меня подскочишь!

Однако он уже понимал: Савку не поднять, а если и поднять, то толку от него не будет — станет сидеть, клевать носом и жевать пельмени вяло и сонно, словно перловую кашу. Эх!

— Ну, — с преувеличенной бодростью повернулся он к Севастьянову, — я воду-то ставлю на пельмени? Давай, что ли, выпьем по одной, пока закипает?

— Я не буду, — сказал Севастьянов.

— Чего? — не понял Егорыч.

— Не наливай, говорю, мне — не буду. Меня Тайка в гости позвала.

— Чего?

— Тайка. Подошла, говорит: чё не заходишь? Или ватник, говорит, не нужен уже?

— Чего? — сказал Егорыч в третий раз.

— Ватник. Пойду я, — и Севастьянов ушёл.

Егорыч, упрямо выпятив челюсть, выставил на стол банку горчицы и сметану в столовской миске. Закинул в кипящую воду лаврушку, засыпал горохи чёрного перца. Потом вышел на улицу за пельменями.

Завернув за угол балка, он чуть не подскочил от неожиданности: под окном возился кто-то огромный и мохнатый. Прошла целая долгая секунда, пока Егорыч сообразил, что это поварихин пёс Камыш. Он стоял на задних лапах, показывая наросты под мощным брюхом сосульки, и зубами пытался снять с гвоздя задубевший на морозе пакет.

— Ах ты, зараза! — завопил Егорыч, замахиваясь.

Камыш скакнул, как лошадь, — мешок сорвался, распоролся сбоку. Пёс, не выпуская его из пасти, помчался в сторону леса.

Егорыч рванул за ним. Тут же понял: не догнать. Камыш нёсся вскачь, проваливаясь в сугробы и мощно выпрыгивая. Из прорехи в мешке выстреливали крепкие, как орешки, ледяные пельмени.

Над снегом, над лесом, над балками с их светящимися окошками замерли далёкие звёзды. И Егорыч замер в сугробе — разгорячённый, с прилипшими ко лбу волосами. В лицо ему подул холодным ветром. Простыть не хватало ещё, после бани-то...

Если эта мысль была его собственной, то другая, возникшая после, явно принадлежала кому-то

ещё. Может быть, другу Равилю? «Пра-аздника захотел! На что тебе праздник? Работать надо. Ты ведь работать остался. Я-то уехал: жена ждёт, дети ждут, вот у меня сейчас — праздник. А ты остался».

Егорыч помотал головой. «А счастливого-то пельменя я не слепил!» — пожалел запоздало.

И ведь можно было... Клюквы у той же Верки попросить и слепить. Почему ж не слепил-то? Ведь даже мысль такая в голову не пришла...

Кряхтя, он выбрался из сугроба обратно к крыльцу и пошёл туда, где возле столовой мигала разноцветными огнями привезённая с профиля ёлка.